

У него облик вежливого европейского чиновника: гладкий профиль, аккуратные светлые волосы, серый костюм, серый галстук с маленькими красными узорами. Он беспрерывно курит — не калян, который хороши был бы в этом старомосковском особняке на Пречистенке, а всего лишь Marlboro Lights. Говоря, он все время чуть-чуть улыбается, — то ли мечтательно, то ли извиняясь. О самом себе он предпочитает не рассказывать. Богатырев как бы убирает себя в тень, отодвигает в сторону, обставляет свои рассуждения аккуратными уклончивыми присказками: «Мне так кажется» или «По моему разумению». А если речь заходит об успехах его музея, то он называет их не успехами, а — «небольшими достижениями».

К концу первой нашей беседы — диктофон уже доматывает двухчасовую кассету — я прихожу в мрачное состояние духа. Его гладкая, правильная речь — кошмар для журналиста. За два часа я успел задать всего два вопроса — на каждый он отвечал огромным монологом, в котором мешались хозяй-

ственные заботы, отношения с инстанциями, благородные поступки дарителей и интриги недругов. Он разговорчив, но в его разговоре я никак не найду главного — его самого. Кто он, этот человек, проводящий свою жизнь в доме, по залам и комнатам которого бродят тени русского девятнадцатого века? Кто он, человек, превративший тихий и скромный московский музей в потрясающее, исполненное величия, пышное и помпезное собрание ценностей и редкостей?

Разговоры с Богатыревым — это длительный процесс проявления человека. Ему нужно время: со временем он проступает, выходит из тени, обнаруживает себя. Вдруг я начинаю слышать в его стерильной речи что-то типично московское — он здоровается фразой: «Я вас приветствую сердечно!», он говорит не «что», а «што». Наконец, через часы разговора, он восклицает: «А можно я с вами сяду!», покидает свой письменный стол и подставляет к моему креслу пушкинской эпохи свое, такое же...



ред диваном на корточки и объясняет мне, что делают сейчас реставраторы с ножкой — украшают ее, надевают на нее металлическое украшение... Диван внимает довольно.

Он спрашивает меня, не хочу ли я посмотреть что-нибудь в фондах, в хранении, там, куда он убежит, устав от стрессов и суеты. Я мнусь. Я знаю, что в фондах этого дома на Пречистенке собрана масса всякой всячины — вазы, сервизы, книги, картины, вышивки, альбомы — но не могу же я попросить его показать мне все? Надо что-то выбрать, на чем-то остановиться. Одна вещь особенно пленяет мое воображение. Но как сказать так, чтобы он не счел меня идиотом? Богатырев ободрило кивает.

— А нельзя ли посмотреть чепчик Веры Нащокиной? — говорю я о заветном.

О, этот чепчик! Мне трудно представить, что чепчик, который носила жена друга Пушкина, Павла Воиновича Нащоки-

ЧЕПЧИКИ НЕ БРОСАТЬ!

В этом музее вещи трогают, поэтому к ним можно прикоснуться



Евгений Анатольевич Богатырев, директор музея Пушкина, собирает в своем музее не просто вещи — он собирает саму историю

тут же выплывет из воздуха и возникнет у вас перед глазами.

Богатырев меняется, когда выходит из своего кабинета и попадает в залы музея. У него меняется походка, меняется осанка, он весь становится как-то громче, знатнее, тверже. Он кивает смотрителям не без величия. В эти моменты он больше не вежливый европейский чиновник, а кто-то другой — барин-хозяин московского особняка, коллекционер, в котором проступает нервная, горячая страсть. И он говорит лихую, отчаянную фразу, которая не очень подходит выдержанному европейскому чиновнику, но очень хороша была бы в устах картежного игрока или дуэлянта: «Когда я уже одуреваю от забот, когда уже нет сил терпеть усталость настолько, что хоть выбегаю на улицу и... головой в снег! — тут лихой человек в нем снова превращается в тихого созерцателя: — Тогда я иду в хранение и смотрю на вещи. На старинные вещи. И это меня успокаивает».

Мы идем по пыльным, роскошным залам, где собраны сотни, тысячи вещей русского девятнадцатого века — раздолье для глаз, пир для чувств. Это не просто вещи тут собраны — это сама история застыла в высоких парадных залах, немая, замкнутая, хранящая тайну. Богатырев скорым шагом, возбужденно, подводит меня к стене, на которой висят часы в витиеватом золотом корпусе: «Видите? Видите? Не очень удачно, конечно...».

Мои знания столь далеко не простираются — я не вижу в этих дорожных часах никакой неудачи, но он продолжает: «Это не подлинный «Нортон», это только английский механизм в русском корпусе, но пусть висят... они неплохи ведь, да?». Мы летим по залам дальше, к маленькой и не очень броской картине, на которой изображены розовый закат, черная узорная решетка и три маленькие фигурки, стоящие к нам спиной. Мне все это ничего не говорит — до тех пор, пока Богатырев не произнесет три заветных слова: «Каспар Давид Фридрих». Это — легендарный немецкий художник, воплотивший романтизм в своих красках и фигурах. А эти трое кто? А это — Жуковский Василий Андреевич и братья Тургеневы, Николай и Сергей. «Ах вот оно что!» — я потрясен. Эти Тургеневы в русской истории многое значат. «Николай ведь потом всю жизнь прожил в Париже, а Сергей умер молодым...» — «Да! А посмотрите на решетку, в нее вмонтирована дата...», — мы склоняемся над маленьким прямоугольным окном в иной век и молча глядим в красноватый закат.

цветов в вазе — и гордо спрашивает: «Ну как?». Стол действительно выглядит потрясающе, в нем есть очарование живой жизни — жизни легкой, изящной, дворянской. Кажется, господа в черных фраках и дамы с обнаженными плечами только что вспорхнули отсюда, как испуганные птицы, — вот мы отвернемся, и они появятся из прошлого снова, и зазвучит их легкая французская речь...

Он держит в памяти десятки и сотни предметов, которые ему хотелось бы получить в свой музей — с легкой завистью он говорит о куске занавески из квартиры Пушкина на Мойке, который хранится сейчас в полураспорожденной парижской коллекции Сергея Лифаря. Мы спускаемся вниз, идем коридорами, где готовятся к фотосъемке желтоватые кресла с завитыми ручками и могучий диван красного дерева, у которого вместо одной из ножек деревянный обрубок. «Бедный диван, ножку потерял...» — бросаю я на ходу, а он тут же бросается к дивану и говорит мне обижено: «Нет, ничего не потерял! Смотрите!». Он садится пе-

на, — существует. Как он может существовать, если нет уже давно на этой земле ни самого Павла Воиновича, ни милой Веры, ни Пушкина, как он может существовать, если с тех пор в России носили дома, порубили леса, устроили несколько революций, на башнях Кремля сменили орлов на звезды и звезды на орлов? Как может остаться в живых какой-то жалкий чепчик, если ушли эпохи, отмерла буква «ять», рухнула могущественная монархия, в прах обратились три императора?

— Идемте! — решительно говорит Богатырев, нисколько не удивляясь моему желанию. Мы идем на лифте вверх, снова идем коридорами и вот оно — хранилище. Это большая комната, уставленная серыми стальными шкафами с выдвигаемыми ящиками, запирающимися на ключ. На столе в углу небрежно лежит длинная сабля с небольшим серебристым эфесом и в черных ножках, она у реставраторов в работе. «Это Александра Александровича сабля...» — небрежно бросает Богатырев, пересекая комнату; в этих стенах просто неприлично добавлять, что Александр Александрович — сын поэта... Ящик плавно выдвигается, и в нем, под стеклом, на плоском подносе — чепчик Веры Нащокиной, белоснежный, с оборками, чепчик, у которого сзади две завязочки, для косы.

Богатырев поднимает большое прямоугольное стекло, и я кончиками пальцев касаюсь чепчика. Я чувствую, что делаю что-то не вполне приличное — не относительно музейных правил хранения, а относительно Веры Нащокиной, с которой я даже не знаком. Я никогда не видел ее, никогда не был ей представлен, а тут вдруг вот так фамильярно касаюсь кончиками пальцев ее легкого, воздушного чепчика...

● Алексей ПОЛИКОВСКИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ

В последнее время в разных изданиях появились странные публикации о директоре музея Евгении Богатыреве. С обвинениями даже в том, что в его кабинете стоит антикварная мебель XIX века. Как будто, когда она навалена друг на друга где-нибудь в подвальной комнатке запасников, это лучше для самой мебели или для посетителей музея.

Все эти публикации начались после того, как Богатырев сделал из музея, до тех пор очень скромного, один из самых заметных и популярных культурных центров Москвы. К тому же — в центре Москвы.

Может быть, после того, как огромная работа проделана, кому-то очень захотелось воспользоваться ее плодами? Так сказать, на готовенькое. И опять же — в центре Москвы.

Музей Пушкина находится в доме гвардейского прапорщика Хрущева — желтый особняк с шестью белыми колоннами на Пречистенке известен каждому москвичу. Этот дом — барин: он глядит несуетливо, он радушен, прост и важен одновременно. И при том хитер: на вид вроде бы одноэтажный, а на самом деле в нем есть покорный этаж, парадный бельэтаж, антресоли и мезонин. Когда-то здесь устраивались балы и приемы «на двести кувертов». Так, языком девятнадцатого века, говорит мне Богатырев, а он знает здесь все: и в какой павильон отселит старший Хрущев своего сына, и из каких окон смотрела за сыном маменька, и что было во флигеле, где теперь его кабинет и где мы беседуем.

Бывал ли Пушкин здесь, в этих стенах? Вопрос этот, как электрический разряд, пробивает что-то в гладкой, вежливой речи Богатырева. «Бывал ли Пушкин здесь?» — переспрашивает он. «Ну нет у нас свидетельств!» — восклицает он как о наболевшем, но не останавливается, а продолжает, нагнетая темп и страсть, усиливая доказательства: «Пушкин бывал в каждом доме рядом. Тут жили практически все его друзья. Денис Давыдов, рядом посаженный отец Нарышкин, где сейчас Дом ученых — «когда в потемках по Пречистенке», — цитирует он, — «вот вам, пожалуйста!» — родственники Пушкина Солнцевы жили на Остоженке, здесь рядом. Орловский дом, он тоже тут. Это место, которое было пройдено Пушкиным не раз. И, скорее всего, он здесь бывал. Когда? Когда в 1826 году приезжает из ссылки, в это время он каждый день на балах, каждый день едет в гости, принимаем во всех московских домах... поэтому... ну что?», — тормозит он, делает растерянную паузу и заканчивает восклицанием странным и неожиданным: «А вдруг нам повезет?»

Значит, надо ждать и верить, и тогда в один прекрасный день Пушкин, помахивая тростью с тяжелым набалдашником, войдет в этот дом на Пречистенке.

Дом на Пречистенке для Богатырева — сосредоточение времен, которые, проходя, не отменяют друг друга. Стоит ему начать говорить о доме, как в речи его начинают проскальзывать теплые, согревающие нотки и слова: «уютный», «торжественный», «дом с аурой», «это место дышит». Из современности — из всех своих разговоров о планах и заботах — он соскальзывает в рассказы и рассуждения о доме быстро, как на коньках с горы летит, — и вот уже с деловитым лицом, озабоченно, говорит мне о каком-то Александре Петровиче, причем говорит так, как будто и я с ним Александром Петровичем знаком. До меня доходит: владелец дома гвардеец и тамбовский помещик Хрущев — для него просто Александр Петрович. Он же

в его флигеле расположился со своими креслами, диваном и факсом, он же в его дом въехал со всеми своими музейными коллекциями. Мягко так улыбаясь, он сообщает мне в своем стиле, что «без нашего особняка, без нашего дома-дворца деревянного, с одной стороны, очень торжественного, а с другой очень теплого, чисто московского, — архитектура Москвы была бы неполной. Наш дом по своей ценности находится в одном ряду с Домом Пашкова, с Кусково, с Останкино, с домом Разумовских...». Я слушаю — мне очень нравится это его словечко «наш»: я так это понимаю, что в его представлениях, когда он сидит вот так напротив меня в кресле пушкинской поры, дом этот, значит, на равных принадлежит гвардейцу Хрущеву и ему, Богатыреву...

Знания Богатырева о доме столь обширны, что простираются даже на область не вполне пристойную в возвышенных разговорах о славной истории и величественных предках. При реконструкции дома — она проходила в середине девяностых — была воссоздана так называемая темная комната, которую иначе называют — «горшковой». Это в обычном стерильном музее такой комнаты вы не встретите, но в подлинном доме девятнадцатого века она непременно была — так же, как есть теперь в особняке на Пречистенке. В эту комнату по сугубой надобности можно было удалиться во время бала или приема. Потом, когда Богатырев водит меня по залам музея, мы заходим и сюда, в «горшковую», — это пустая комната непонятного профанам предназначения, с темными стенами, а посредине, как фигура умолчания, — белоснежный Амур Фальконета.

Мы идем по музею, мы рассматриваем кирасу, украшенную императорским гербом и инвентарным номером, мы немножко сплетничаем об императрице Марии Федоровне и ее камее... Все это, выражаясь музейным языком, мемории — то есть вещи, напоминающие об их владельцах. Легкий ток пронзает меня, когда я стою перед торжественным, обтянутым золотой тканью диваном, на котором в Каменке лежал (в халате? куря чубук? попивая водочку?) генерал Денис Давыдов. Невысокий кавалерист наверняка умещался на этом небольшом диване целиком, с ногами. Я стою, и Давыдов как будто возникает на этом диване — прозрачный призрак, который тем реальнее, чем сильнее мое желание увидеть его.

Вещи — это не мертвая материя, не бездушное сочетание дерева, металла и ткани. Вещи хранят в себе владевших ими когда-то людей. Погляньте на треугольную вершину этого роскошного дивана — курчавая голова партизана и поэта, с седой прядью, заработанной во время безумной атаки русской пехоты при Прейсиш-Эйлау,